

ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВА

МИР, КОТОРЫЙ ТЫ НЕСЁШЬ...

О “Большой-пребольшой книге”. О премии

В редакцию принесли книги. Гору. Гора долго лежала на стуле, горделиво возвышаясь над его спинкой.

Читать не хотелось. Просто просматривать по диагонали – почти преступно: схватываешь внешнее, а внутреннее может ускользнуть, спрятаться.

Лежали... лежали книги... Насилу открыла первую – и в прямом и в переносном смысле: пришлось взрезать крепкий целлофан.

И опрокинулся мир...

Славная Славникова, собравшая почти все литературные премии и слева, и справа, и с “центру”, с размаха швыряет читателя в бесконечную, – как оказалось, до конца романа – бездну, населённую почти босховскими персонажами. Школьное детство главного героя проходит в окружении физруков с “водянистыми глазами-пузырями”, видевшими только “толстых девочек в тугих трико”; учителя физики – тощего, “нескладного, с кадыком, похожим на древесный гриб”; матери учителя, она понадобится далее в романе, – бывшей балерины, “важной, слегка оскаленной мумии”. Главный человек в жизни подростка – тренер – у Славниковой “с коричневой печёной лысиной и чёрной шерстью на груди, где запутался, будто комар, мелкий православный крест”.

Мир природы и мир вещей, окружавших юного Ведерникова с детства, тоже изломан, искорёжен, размыт: берёза под окном – “толстая, как снежная баба”; троллейбус – “медленный, как корова”; овощи, которые нужно чистить в наказание, – “чёрные, дряблые”; кухонная плита – “поросшая жирной коростой”... И так далее, и тому подобное.

Все “красоты” мира вываливаются на читателя из корзины изобилия авторской фантазии. И это всё с первых страниц романа – глазами, скорее, не самого подростка, а именно автора. Поэтому немудрено, что и далее Славникова в романе “Прыжок в длину” (конечно же, с “любовью” испечённом к Московскому чемпионату мира в надежде на...) швыряет своего Ведерникова из одного огня да в другое полымя: “Ведерников не пьёт, пробовал – не получилось... Это спасло его от простого человеческого распада, но подвергло, как он постепенно понял, распаду худшему: разрушению в полном сознании, по жгучей песчинке, по клетке, необратимо и страшно”.

Распад... распад и разрушение, которое заботливо создают для своих персонажей славные славниковы...

К их когорте относится и автор следующей взятой из книжной горы книги – Андрей Филимонов – в своих “Рецептах сотворения мира” (какова претензия!).

“С лёгкостью необыкновенной” – вприпрыжку, ёрничая – выписан весь роман. Читать его оказалось совсем уж невыносимо: открывая любую страницу, находишь примерно такие перлы:

“Стояло лето 1916 года. Брусилов колотил австрийцев в далёкой Галиции. Распутин, как цирковой силач, держал на плечах трон самодержца и стульчик наследника. . . . Кинозвёзды затмевали надоевшую войну, . . . отравленные пирожные княгини Юсуповой, падёж двуглавых орлов с крыш правительственных зданий, бунт крокодилов в Петрограде, заглотивших полицию со всей амуницией. Чуковскому понадобилось много опиума, чтобы скрыть ужасную правду в разбитной басне. . . . Говорили, что Герберт Уэльс привёз Ленину машину времени, и они укатили в будущее, прихватив с собой изрядный кусок империи. Но это всё в столице, а провинция жила по старым календарям, не чувствуя истинного масштаба бедствий, возмущаясь только мелочами: переводом часов или новшествами в еде. Страшно раздражала овсянка, внедряемая англичанами, которые сначала были союзники, а потом стали интервенты.

– Иго-го! – кричали молодые люди, завидев на улицах барышень.

– Что это вы ржёте, как лошадей? – хихикали барышни.

– Так ведь овёс кушаем-с!”

Складывается полная уверенность, что и романист Филимонов – тоже заядлый любитель овса.

Из этой же книжной горы-горной и Александр Архангельский, напустивший туману в “Бюро проверки”, романе, по жанру заявленном как “и детектив, и портрет эпохи, и завязка сегодняшних противоречий”. События укладываются в девять дней, перенасыщенных “историей любви, религиозными метаниями, просмотрами запрещённых фильмов и допросами в КГБ” (как же без них в диссидентских романах, даже если они опаздывают со своими “разоблачениями” уже на целую эпоху).

Особенно трогательно здесь смотрятся “запрещённые фильмы”, да и допросы в КГБ, куда, конечно же, молодой человек попадает, судя по намёкам автора, не столько за посещение православного храма, сколько за параллельный этому просмотр запрещённого фильма об олимпиаде в фашистской Германии (конечно же, с обязательным намёком на пятый пункт, но здесь он высвечивается с точностью до наоборот, хотя зашифрован-запудрен до неузнаваемости).

Пресловутый пятый пункт проигрывается как-то весьма странно уже с самого начала романа в сцене встречи ученика с Учителем: “При этом он слишком резко поднял руки, повернулся – я увидел в ворота рубахи золотой нательный крест. Старинный, на тонком плетёном шнурочке. И это было, как масонский знак, как тайное послание: тебе доверено, тебя *включили!*”.

Куда включили, в какую очередную схему властителей мира сего? – а туману напущено именно на такой объём кодирования, зашифровки – нам, простым смертным читателям, конечно же, никто и не собирался объяснять-рас толковывать. Зато стратегия попадания в такого рода горы-горные литературы данной “тематикой” обеспечена стопроцентно. И неважно, что “любовь” там расчётлива и прагматична, а “религиозные метания” имеют такую широкую амплитуду, о которой можно догадаться уже по вышеприведённому фрагменту.

Вязкая стилистика “Памяти памяти” Марии Степановой оказалась такой мудрёной, что вряд ли поможет даже аннотационный толкователь. А он ласит: “Новая книга Марии Степановой – попытка написать историю собственной семьи, мгновенно приходящая к вопросу о самой возможности сохранять память о прошлом, разбор семейного архива, обращающийся взглядом на историю прошлого в настоящем, и история главных событий XX века, как она может существовать в личной памяти современного человека. Люди и их следы исчезают, вещи лишаются своего предназначения, а свидетельства говорят на мёртвых языках, описывая и отбрасывая различных посредников между собой и большой историей. Автор “Памяти памяти” остаётся и оставляет нас один на один с нашим прошлым”.

Вы что-нибудь поняли? Я, внимательно читавшая первую четверть романа, признаюсь, завязла в этой авторской (не сомневаюсь) аннотации. С чьим таким “нашим прошлым”? С прошлым дедушки Лёни из Саратова, который “намеревался поехать в Починки семьёй, имея в виду что-то вроде возвращения колен Израилевых, которых должно быть много”. Но он так и не собрался

в Починки, туда попадает, наконец-то, сама главная героиня, с которой был «путеводитель, обещавший красоты Арзамаса, и книжечка про Починки, изданная двадцать лет назад. Там упоминалась лавка еврея Гинзбурга (курсив автора. — М. С.), торговавшего швейными машинками, и это было всё».

Опять пункт пять... Существенная часть усилий бабушек и дедушек главного персонажа (за которым притаился автор) в том, «чтобы остаться невидимыми. Достичь искомой неприметности, затеряться в домашней тьме, продержаться в стороне от большой истории...» Даже в войну это им удаётся: один — в заводской «бронь», другой — на Дальнем Востоке воюется (простите за неологизм, но здесь именно так). Но всё бы ничего, пусть бы так и описывалось «житие» невидимок, ан нет, тут нельзя опять же и об аборигенах не упомянуть автору, хотя бы в связи со значением слова *смотрящий*. «На языке тюрьмы и зоны, *которым пользуется существенная часть тех, кто вообще говорит по-русски* (а вот теперь курсив мой. — В. Е.), *смотрящий* — тот, кто определяет правила и следит за их выполнением». Вот и приехали — опять на круги своя.

И, чётко определившись, далее уже знаток энного количества языков (плюс вышеупомянутого русского — «тюрьмы и зоны») свободно путешествует по всей Европе и далее в поисках следов деда Лёниного «колена Израилева». Хотя тут же признаётся: «Моя семейная история состоит из анекдотов, почти не привязанных к лицам и именам, фотографий, опознаваемых едва ли на четверть, вопросов, которые не удастся сформулировать, потому что для них нет отправной точки и которые в любом случае некому было бы задать. Тем не менее, мне без этой книги не обойтись». И подволакивает за собой ещё не отшатнувшегося от «семейной истории» читателя далее — через венское подземелье Михаэльскирхе, с его «инвентаризованными и приведенными в порядок человеческими костями», к восковым телам Йозефинума, в выставочных залах которого человек разумный «сервирован как блюдо с открытой брюшной полостью, на которой, как в ресторане, выложены блестящие хорошенькие органы...» Дальше цитировать ни возможности, ни желания нет — наш родной русский язык не воспринимает этот придыхательный восторженный смак, с которым идёт красочная опись «блестящих хорошеньких»...

И я на этом сломалась. Закрыла толстый романище с изуродованной, без ручек-ножек — кем-то отбитых, — фарфоровой куколкой на обложке. Читать более не стала.

К чему это я всю опись инвентарную горы-горной привожу? Если кто ещё не догадался, то это всё — короткий, из восьми претендентов состоящий список полуфиналистов громкой *национальной* литературной премии «Большая книга». Правда, без пухлого романа «Июнь» Димы Быкова (завсегдатая премии), в котором он кругами, на пятистах страницах — вокруг да около — ходил-ходил, да и выходил в финале громокипящее «собственное» открытие Сталин = Гитлеру, Гитлер = Сталину, в общем, близнецы-братья. Здесь, безусловно, Дима переплюнул самого себя, но коли уж он только в финале выговорил эту формулу вслух, то, может, ещё раздумает её повторить — так в лоб — при выходе романа на широкую публику. Хотя наши либерал-демократы уже не единожды озвучивали её во всяких там политических шоу-битвах на шпагах и на пистолях.

Справедливости ради стоит отметить роман Олега Ермакова «Радуга и Вереск», который тоже встроен в этот список. Но не могли же составители списка не увидеть вот этого: «И тут Косточкин понял, почему эти грязноватые и неряшливые люди показались ему странными: у обоих были чёрные выпуклые глаза и характерные носы. Ничего подобного Косточкин в своей жизни не встречал. Евреи опрятные люди». И страницей далее: «Издали он увидел и спины искателей синагоги, восходивших по улочке. И тут же они скрылись. Наверное, дальше пойдут уже по воздуху». Ассоциации странные, но весьма прозрачные. Всё, знак качества ещё до семидесятой страницы романа поставлен — автор открыт для симпатий, к тому же аборигены, не ищущие синагоги, тут внедрены тоже: «На него взирали глаза подревнее этого дома, да и всего города с его башнями и домонгольскими храмами. И в то же время... выглядели парень и его товарищ как-то нелепо. ... Косточкин не мог сделать и шагу за ними. Так и стоял, ждал, пока они не скроются. Что случилось? Он же собирался сфоткать этих гостей откуда-то из пространства Шагала».

Мда, аборигены града Смоленска, в который попадает наш герой-фотограф (любитель “тёмного пива и пары стаканчиков текилы”), напоминают ему каменных (или какие там они – бронзовые, из цемента?) уродцев московского Цветного бульвара.

А поскольку попытка фотографа Косточкина, любителя (см. выше чего), как-то слепить свою поездку в этот древний город “лихорадочно-духовной”, на наш взгляд, почти провалилась, несмотря на разнообразие ощущений, нечаянно испытанных персонажем в этом полудиком сером пространстве, то тем более встроить роман в столь почтенный список восьми претендентов хозяевам премии необходимо было во что бы то ни стало. Ведь в нём скользят зачатки модных сейчас ростков: озабоченное толкование национальной идеи, камень в огород православия (“попы снова, как при боярах, живут жирно”) и прочие завлекательные штучки, без которых устроителей обвинили бы совсем уж в полном предпочтении одной и той же “национальной” специфики.

Впрочем, читать роман Олега Ермакова всё же стоит. На своих лучших страницах автор почти достигает освоения духовного (не “лихорадочно-духовного”) пространства русской истории. Пусть через плотную маскировку, которая кое-где нивелирует достигнутое, размазывает его, но всё же от исторических фактов деться настоящему художнику всё равно некуда. А Ермаков на выходящих в историческое прошлое страницах своих даже с “помощью” вяло-инертного главного толкователя Косточкина выглядит вполне настоящим.

Опись горы-горной на этом, пожалуй, заканчиваю, хотя нетронутым, завёрнутым в плотный целлофан остался Гришковец со своим “Мемуарным романом”. Но мой лимит заглядывания в пропасть исчерпан, дорогу к обратному движению её ко мне намертво перекрываю.